

ПУСТАЯ КРОВЬ



Полюбить — значит забыть

АЛИСА ВЕРДЕН

Алиса Верден

Пустая кровь

<https://litres.ru/74232317>

SelfPub; 2026

Аннотация

«Меня зовут пустой. Но моя кровь — самая редкая в империи.»

В Аурелисе всё решает искра Дара — а у Нэйры её нет. Служанка, тень, пустышка. Так думают все. На самом деле она — Полая: забирает чужую магию одним прикосновением и за каждую украденную искру платит своей памятью — именами, лицами, теми, кого любила.

Когда её тайну чувствует Инквизиция, спасение предлагает Кассиан — наследник опозоренного клана, которому она нужна как оружие. Её жизнь в обмен на её силу. Вот только с каждым днём он всё меньше похож на врага — а если её дар сорвётся, выброс осушит тысячи.

Чтобы спасти всех, ей придётся отдать последнее, что осталось. Ведь чем сильнее она любит — тем больше забывает.

Тёмное романтическое фэнтези для тех, кто зачитывался «Четвёртым крылом» и «Мара и Морок».

Содержание

Глава 1	4
Глава 2	15
Глава 3	27
Конец ознакомительного фрагмента.	38

Алиса Верден

Пустая кровь

Глава 1

*«Порожний искры не имеет, а потому
не имеет и воли к возвышению.*

*Держать его при доме
безопасно, доколе он полезен.*

*Ставшего бесполезным надлежит
передать в общие работы, не мешкая
и не жалея».*

*Из «Наставления домовым зрителям»,
Инквизиция Дара, лист четвёртый, о порожних.*

Меня научили быть мебелью раньше, чем читать.

Хорошая служанка в доме Солейн — это то, чего не замечают. Ты подаёшь вино прежде, чем бокал опустеет, и уходишь прежде, чем на тебя упадёт взгляд. Ты знаешь, с какой стороны обойти госпожу Иллуну, когда у неё болит голова, и в какой час у молодого господина портится настроение, и что в такие часы лучше не дышать. Я знала в этом доме всё: где скрипит третья ступень, сколько свечей велено жечь в Малом зале, чью чашку нельзя перепутать под страхом порки. Знать — это было моё ремесло. Знать и не быть.

В вечер, с которого всё началось, в Малом зале давали

приём в честь помолвки, и воздух был плотным от Дара.

Я видела его так, как видят только пустые — со стороны, снаружи, как нищий видит витрину. У каждого Одарённого искра проступала под кожей, если приглядеться: тёплый отсвет вдоль ключиц, вдоль запястий, там, где кровь ближе к поверхности. У госпожи Иллуны он был ровный и золотой, как у всех Солейнов. У её гостей — кто побледнее, кто поярче, целая ярмарка чужого света, по которому здесь считывали, кому кланяться. Я разносила вино и считала искры, потому что это было безопаснее, чем считать часы до конца смены.

Нынче их собралось особенно много. Помолвку младшей из Солейнов справляли с размахом, какой заводят, когда хотят, чтобы весь Верхний город увидел и запомнил: гости прибывали кланами, и каждый клан вносил в зал свой цвет Дара, будто знамя. От тех, чей домен — рост, тянуло прелой зеленью; от лекарственных рук шло ровное белое тепло, от которого унималась головная боль у стоящих рядом; Солейны горели поверх всех золотом, потому что принимали у себя и потому что могли себе позволить гореть. Я скользила между этими огнями с кувшином и была среди них единственной тенью — тенью, которую держат при свете, чтобы было кому носить подносы.

Один гость не считался ни во что.

Он стоял у простенка между окнами — там, где сквозняк и куда не ставят кресел. В тёмном и немодном, без клановой

цепи, из тех, кого зовут по обязанности, а сажают подальше. Я поднесла ему вино дважды. Оба раза он качнул головой, не отрывая глаз от зала, и оба раза я отметила про себя, что искра у него есть, и странная. У прочих она гуляла по ключицам и запястьям, просилась наружу. У этого держалась глубоко и ровно, будто под рёбрами прикрыли ладонью свечу. Такой свет не показывают. Такой берегут.

У третьего окна он вынул из рукава книжицу в потёртой коже и что-то в неё вписал — коротко, огрызком карандаша, как вписывают счёт. Потом ещё раз. Между двумя записями он оглядел зал так, как приказчик оглядывает чужой товар: без зависти, с прикидкой.

Я умею читать людей. Это моё второе ремесло после незаметности: за полшага понять, кому налить, кто сейчас уронит, кто ищет, на ком отыгаться. Его я прочесть не смогла. Он не хотел ничего из того, чего хотят на приёмах.

Ну и пусть, решила я. Скучающий бедный родственник, каких на всякой помолвке по трое. Мне было чем заняться.

У меня самой под кожей не было ничего. Пустая кровь. Так значилось в реестре Инквизиции, так значилось на медной бирке, вшитой в подкладку у меня на плече, — чтобы всякий Одарённый знал, что к нему прикоснулось ничто, и мог, если захочет, потребовать за это плату.

Двенадцать лет я жила тем единственным, что во мне ценили, — умением не быть. Хорошая порожняя угадывает, чего господину захочется, за полшага до самого господина;

оказывается там, где нужна, ещё до того, как её позовут; исчезает раньше, чем на неё падёт взгляд. Я наливала воду прежде жажды, подавала плащ прежде озноба, уносила разбитое прежде, чем о нём спохватятся. За это меня терпели. Любить ничто нельзя — но терпят в этом доме дольше, чем любят, и я давно перестала путать одно с другим. Наука была простая: пока с тебя есть прок, ты жива. Прок — единственная монета, какой порожняя платит за право дышать под золотой крышей, и я платила щедро, каждый день, до последнего медяка, и ложилась спать спокойной ровно настолько, насколько щедро успела заплатить.

Лисса поймала мой взгляд от дверей кухни и скорчила рожу — тайком, для меня одной. Она несла поднос с медовыми грушами, и несла его слишком высоко, и я поняла, что будет беда, за миг до того, как беда случилась. Я всегда понимала на миг раньше. Это было единственное, что у меня было вместо искры.

— Смотри под ноги, — шепнула я, проходя мимо, но зал был полон, и между нами вклинился молодой господин Тейн.

Тейн Солейн был красив той красотой, которую портит характер, и пьян той особенной злостью, что ищет, обо что бы разбиться. Он качнулся, Лисса качнулась, поднос дрогнул — и одна медовая груша скатилась ему прямо на рукав, оставив на белом шёлке тёмный след.

В зале стало тихо не сразу. Сначала засмеялась какая-то

дама. Потом Тейн поднял руку, и по его запястью пробежал огонь.

У Солейнов Дар говорит огнём. Я видела, как этот огонь зажигает каминны через комнату, как высушивает чернила на письме одним взмахом. Я видела однажды, что он делает с человеческой кожей, и не хотела видеть снова.

— Ты, — сказал Тейн Лиссе, и в голосе его было почти удовольствие. — Пустая дрянь.

Лисса не двигалась. Правильно делала. Двигаться — значит признать, что ты живая, а живых наказывают; мебель просто стоит. Но её лицо было белым, и она смотрела на разгорающуюся ладонь так, как смотрят на приближающийся конец, и я поняла, что она сейчас закроется руками, и что руки не помогут.

Мне полагалось стоять. Всякий разумный инстинкт во мне говорил стоять. Пустая, что заступает за пустую, — это не заступничество, это два костра вместо одного.

Я поставила кувшин на столик — тихо, ровно, как ставила тысячу раз, — и оказалась между ними.

— Позвольте, господин, — сказала я и взяла его за запястье, будто хотела удержать от недостойного жеста, будто заботилась о его шёлке, о его руке, о его добром имени. Слуги трогают господ только так — извиняясь всем телом за то, что вообще смеют.

А потом я потянула.

Этому нет слова на языке Одарённых, потому что для них

это невозможно. Я могу описать только изнутри: будто в человеке есть натянутая струна света, и если ты пуста — пуста до самого дна, как пуст стакан, — ты можешь коснуться этой струны и вобрать её звук в себя.

Чужая струна не поддаётся. Она упирается, как упирается собака, которую тянут за ошейник от чужой миски: Тейн не знал, что происходит, но всё живое в нём знало и держало своё. Нить не потянулась — она лопнула. Мне достался волосок огня, а вместе с волоском — ожог: горячая ссадина в самой середине ладони, там, где нет никакой раны, и тонкий звон под черепом, будто у меня в голове с размаху задела стекло. Так берут у чужих. Мало, рвано и с расплатой в обе стороны.

Огонь на его ладони дрогнул и погас, будто задули свечу.

И в тот же вздох по мне изнутри прошёл холод — от ладони, которой я держала его запястье, вверх, к лицу. Я знала этот холод и знала, что он делает с глазами. Радужки на один удар сердца выцветают, подёргиваются серебром, как стекло инеем, — и всякий, кто в это мгновение поймал бы мой взгляд, увидел бы нечеловеческие глаза. Я опустила голову. Отвернулась к его рукаву, будто озабоченная пятном на шёлке, и держала лицо книзу, пока тепло не вернулось в пальцы и цвет — в глаза. Всей выучки на это ушло меньше, чем на один вдох. Оттого Тейн, опустив взгляд на свою руку, увидел только голую ладонь без огня — и ничего не увидел во мне.

Он моргнул. Посмотрел на свою руку — на голую, обыкновенную руку без пламени — и на лице его проступило то детское недоумение, какое бывает, когда сильный впервые чувствует себя обманутым. Он повёл плечом, как человек, которого качнуло. Дар гаснет иногда сам. Так все думают. Слишком много вина, слишком душный зал. Он не мог заподозрить правды, потому что правды не существовало: Полых давно нет, их сожгли до последнего ещё при его прадеде, о них говорят как о болезни, которой больше не болеют.

— Пошли вон, — сказал он наконец. Обеим. Вяло, потеряв запал вместе с огнём.

Мы пошли. И у самых дверей, подбирая с полу закатившуюся грушу — чтобы руки были заняты, чтобы всякий видел, что я при деле, — я подняла глаза.

Весь зал смотрел на Тейна. Как смотрят на человека, который занёс руку и не ударил: с любопытством, уже готовым стать насмешкой.

Гость у простенка смотрел на меня.

Не на Тейна, не на его погасшую ладонь, не на грушу. На меня — ровно, без выражения, тем самым прикидочным взглядом приказчика, и книжица в потёртой коже была у него открыта.

Я согнулась ниже, взяла грушу и вышла, унося на спине это внимание, как уносят с приёма чужой запах. Ерунда, сказала я себе на пороге. Мало ли кто на что смотрит. Порожнюю разглядывают, когда хотят вспомнить, где её виде-

ли, или когда собираются пожаловаться госпоже.

Ладонь горела. Я держала её в кулаке, чтобы не разжигать.

Расплата пришла на лестнице для прислуги, как всегда приходит — не сразу, чтобы ты успела поверить, что обошлось.

Я спускалась за Лиссой, держась за перила, и на середине пролёта что-то во мне тихо осыпалось. Так осыпается песок из прохудившегося мешка: не замечаешь, пока не станет легче там, где должно быть тяжело. Я потянулась за воспоминанием — привычно, как трогают языком больной зуб, — и наткнулась на пустоту.

Была песня. Я знала, что была песня — колыбельная, кто-то пел мне её, слов я не помнила уже давно, но помнила мелодию, помнила, что она у меня есть, как помнишь, что в кармане лежит монета. Я потянулась за мелодией.

Кармана не было.

Не «я забыла мотив» — забыть можно, забытое отыскивается. А так, будто в комнате памяти, где стояла эта вещь, теперь ровная стена, и даже пыли на полу не осталось, чтобы понять, что здесь когда-то что-то стояло. Я знала только по форме дыры, что взяла у меня искра Тейна. Одну колыбельную. За одну погасшую свечу.

Дёшево, сказала бы Вешна. Дёшево, девочка, радуйся, что дёшево.

Я не радовалась. Я стояла на холодной ступени и пыталась

напеть про себя то, чего больше не было, и не могла даже вспомнить, что именно не могу вспомнить.

Большой палец стучал по перилам. Раз — и два коротких, раз — и два коротких. Я поймала себя на этом и остановила руку. Ритм остался в пальцах, никуда не делся, ровный и уверенный, как чужая рука, которую забыли у тебя на плече, — ритм чего-то, чего у меня больше не было.

— Нэйра. — Лисса ждала внизу, и в полумраке её лицо было тревожным. — Ты чего застыла? Он же погас. Повезло тебе — заступилась и цела.

— Повезло, — согласилась я.

Она не знала. Никто не знал. В этом и был весь мой навык — не тот, что в руках, а тот, что в лице: держать его пустым, как моя кровь, чтобы ни одна нить чужого страха не зацепилась. Лисса думала, что я просто отчаянная дура, которая однажды доиграется. Я не разубеждала её. Пусть думает про дуру. Дура — это то, что бывает; Полая — это то, что жгут.

— Идём, — сказала я. — Пока Тейн не вспомнил, что зол.

Внизу, на кухне, было жарко илюдно и пахло гвоздикой, и я почти вернула себе дыхание, когда заметила, что кухня молчит.

Кухня Солейнов не молчала никогда. Двадцать человек, котлы, ор старшей поварихи — этот шум был как второе сердце дома. А сейчас все стояли, повернувшись к дверям во двор, и в дверях стоял привратник Ольд, и лицо у него было такое, какое бывает у людей, принёсших весть, которую не

хочется нести.

— В Нижнем городе, — сказал он в тишину. — Сегодня утром. Инквизиция взяла Полуно.

Кто-то охнул. Кто-то сказал: «врётся», — тихо, без веры, как говорят, когда очень хотят, чтобы соврали.

— Своими глазами, — сказал Ольд. — Пепельные вели её через площадь. Молодая совсем. И... — он запнулся, искал слово и не нашёл лучше, — и жгли её не на нашей памяти как жгут. По-старому. Со всей башней вышли.

Я стояла у самой печи, и мне было холодно.

Полых нет. Их не было всю мою жизнь — я выросла на этом, как на хлебе: ты не Полая, потому что Полых не бывает, ты просто порченная, просто пустая, просто ничто, и ничто безопасно, ничто никому не нужно, ничто доживает до старости в чьей-нибудь кухне. Я построила из этого «нет» весь свой дом. А теперь через площадь в двух улицах отсюда вели молодую женщину, которая умела то же, что умею я, и башня выходила смотреть.

Значит, «нет» было ложью.

Я стояла у печи, от которой шёл жар, и не могла согреться. Где-то в двух улицах отсюда осталась горстка тёплого пепла — всё, что оставили от женщины, у которой были такие же руки, как у меня, и такая же дыра внутри, куда утекает чужой огонь. Её нашли. Сжечь — дело нехитрое; жутко было другое: её сумели отыскать. Значит, кто-то в этом городе умеет находить таких, как я, — как тихо ни живи.

Лисса тронула меня за локоть.

— Ты чего белая? — шепнула она. — Тебе-то что. Ты ж пустая. — И, желая утешить, сказала то, отчего у меня всё внутри сжалось: — Тебе бояться нечего, Нэйра. Таких, как ты, они не трогают. Кому ты нужна.

— Кому я нужна, — повторила я.

И улыбнулась ей — так было правильно; улыбка тоже служба, её подадут вовремя и уносят прежде, чем разглядят. А про себя подумала, впервые за много лет прямыми словами, глядя на огонь в печи, который не мой и никогда не будет моим: никому. В этом всё моё спасение.

— Это ещё не всё, — сказал Ольд от дверей.

Он снял шапку и мял её в руках, и на нас не смотрел.

— Велено передать по дому. Завтра Пепельные пойдут по Верхнему городу. Со списками. Всем, у кого бирка, — быть при доме и не отлучаться.

Глава 2

*«Раз уголёк, два уголёк, три
уголёк — гори. / А четвёртому,
порожнему, дырка в горсти. / Кто с
искрой — тому небо, кто без искры
— тому пол. / А кто до пятого
досчитал — тот уже ушёл».*

*Считалка Нижнего города. Внесена в опись
запрещённых песен, лист двенадцатый, с пометой «к
детям не допускать»*

Страх в господском доме живёт внизу, на кухне.

Наверху бояться нечего: у кого под кожей огонь, а за спиной клан и закон, тот спит спокойно. Страх достаётся нам — тем, у кого нет ни искры, ни имени, ни одного завтрашнего дня, за который кто-нибудь бы поручился. Мы боимся всегда — гнева господ, доноса, хвори, что сделает тебя бесполезной, — только виду не подаём. И деться страху не даём: у нас его не проживают — глушат работой. Чем страшнее весть, тем ожесточённое скребут котлы.

Не успел Ольд договорить про списки, как старшая повариха Брида хлопнула в ладоши — сухо, будто переломила хворостину, — и кухня очнулась.

— Котлы сами себя не отдраят, — сказала она. — Кому охота слушать про Нижний город — идите на площадь, там уже отслушали. А тут медовый противень стынет.

На площадь не пошёл никто. Взялись за противни.

Я мыла бокалы тонкого верхнего стекла, за которое, если оно хрустнет у тебя в пальцах, расплачиваешься не деньгами — спиной. Вода была едва тёплой, жир не желал сходить, и я тёрла и слушала, как за плечом дом возвращается к ночному ремеслу: скрип щёток, плеск, ругань Бриды, ровная, как ход маятника. Знакомое. Знакомое было хорошо. Пока руки заняты знакомым, голове можно ничего не решать.

Середина правой ладони саднила. Ожога не было — я поворачивала руку к плоске и смотрела: чистая кожа, ни красноты, ни пузыря. Саднило изнутри, как саднит содранное о верёвку, и от воды становилось хуже.

— Обожглась? — не оборачиваясь, спросила Брида.

Она всегда знала, кто где стоит и что у кого с руками, лучше всякой искры.

— О противень, — сказала я.

— Смажь салом да не хнычь.

Я не хныкала. Я думала о том, что противня в моих руках сегодня не было и что за одну погасшую свечу с меня взяли дважды: снаружи и внутри.

Брида правила кухней, потому что у неё была искра. Крохотная — с ноготь, из тех, что инквизиторский чиновник при испытании заносит в самый нижний столбец и больше о них не думает. Она умела держать угли живыми целую ночь без нового полена и на ощупь, не заглядывая под холст, знала, поднялось ли тесто. Смешной дар, кухонный. Но даже та-

кой ставил её выше нас, порожних, у кого под кожей не теплилось ничего. В доме Солейн порядок держался просто и честно: у кого искра ярче, тот и прав. Наверху — золото Солейнов, огонь, от которого в Малом зале люстры вспыхивали одним взглядом. Ниже — управляющий Госта с искрой в полруки, который за глаза звал Бриду «угольщицей», а в глаза не звал. Ещё ниже — сама Брида с её ноготком. А в самом низу, под всеми, — мы, у кого детское испытание показало ровный ноль и кому вместо будущего вшили на плечо медную бирку.

Своё испытание я помню плохо и всё равно слишком хорошо.

Меня привели маленькой — сколько было лет, не скажу, потому что до того возраста у меня в памяти вообще пусто, будто жизнь начали писать не с первой страницы. Помню холодную залу при Пепельной башне, длинную очередь детей вдоль стены и чиновника в сером, что сидел за столом с искровым камнем. Камень был серый и невзрачный, с кулак; у одарённого ребёнка он под ладонью наливался светом изнутри, как уголёк, если подуть. Одни зажигали его ярко, и мать такого ребёнка ахала и прижимала ладони к губам. Другие — чуть-чуть, и по лицам родителей было видно, много или мало им выпало.

Меня подвели, поставили руку на камень. Камень остался серым.

Чиновник даже не поднял глаз. Он макнул перо и вывел

в столбце какой-то знак, и другой человек тут же взял мою руку — не грубо, буднично, так берут не живое: утварь, которую метят перед тем, как убрать на полку, — и приложил к плечу холодную медь. Больно не было. Меня просто перестали замечать в ту же секунду, как перестал светиться камень. Я стояла с чужой рукой на своём плече и понимала — не словами, детям такое понятно и без слов, — что меня сейчас взвесили и нашли пустой, и что жить мне теперь ровно столько, сколько от меня будет проку.

Так я и жила. Двенадцать лет невидимой пользы. Я думала, это моя цена. Я ещё не знала, что камень тогда сказал правду и всё же не всю: своей искры во мне и впрямь не было — но было другое, чего инквизиторскому камешку не нащупать. Пустота, которая сама не светит — только тянет чужой свет в себя.

— Нэйра. — Брида кивнула на противень. — Груши убра-
ла?

— Уберу.

— Госпожа велела к утру, чтоб духу не было. Помолвка помолвкой, а сладкое портится.

Я убрала груши. Целый противень липкой медовой сладости — и из-за одной такой сегодня чуть не погибла Лисса.

* * *

Ужин прислуги давали, когда наверху уже спали.

Мы сходились в закуток за кладовой, где пахло мукой и мышами и стоял длинный стол в шрамах от ножей — и не одного поколения ножей. С господского стола спускали объёдки, и по тому, что тебе досталось, читался твой ранг не хуже, чем по искре. Гости — крыло каплуна. Бриде — что помягче. Нам с Лиссой — хлеб, серый край окорока и всё, что не жаль. Я давно перестала считать это обидой. Голодной я спать не ложилась. А гордость — товар не по карману тем, у кого на плече медь.

Лисса протолкалась ко мне, села вплотную, грея боком, и выложила на стол между нами, воровато, как сокровище, помятую медовую грушу.

— С того подноса, — шепнула она. — Спасла одну. Раз уж из-за них весь сыр-бор вышел.

— Тебя выпорют, если увидят.

— Так не увидят. — Она разломила грушу пополам липкими пальцами и половину придвинула мне. — Ешь, спасительница. Заступилась за меня, чуть господина не разозлила — тебе и первый кусок.

Груша была слишком сладкой, переспелой, с медовым духом, от которого сводило зубы, и лучше я в тот год ничего не ела. Мы жевали в полутьме, плечо к плечу, а вокруг переговаривались усталые люди, и кто-то тихо смеялся, и в этом углу, пропахшем мышами, стояло тепло, какого не даёт никакая искра, — от того, что рядом кто-то дышит с тобой в лад.

За такое тепло я держалась обеими руками. Я умела быть невидимой весь день, читать чужие настроения раньше их самих, гасить свои желания прежде, чем их заметят, — и всё ради одной награды: чтобы вечером Лисса села вплотную, разломила ворованную грушу и назвала меня спасительницей, будто во мне было что спасти.

Мы сошлись не сразу. Лиссу привезли в дом Солейн лет пять назад, зимой, тощую и злую, из какой-то деревни за Пустырями, где её продали за долг, — она первое время кусалась на всякое доброе слово, потому что доброе слово в её деревне означало, что сейчас тебя обманут. Я такую повадку знала за собой, оттого и не лезла. Просто в первую же её ночь на чердаке, когда она лежала, свернувшись, и делала вид, что не мёрзнет и не плачет, я, уходя за водой, укрыла её своим одеялом — молча, будто обронила. Наутро она вернула. На другую ночь я укрыла снова. На третью не вернула. А под утро я проснулась оттого, что она перебралась ко мне под бок, деля то же одеяло, и злобно сопела во сне. С тех пор мы и спали рядом.

Госта на дальнем конце стола обгладывал каплунье крыло и рассказывал, кому охота слушать, как оно всё устроено у высоких: помолвку затеяли без всякой любви, чтобы свести огонь Солейнов с искрой лечащего клана, а от такого союза дети родятся сильные — и это новые люстры, новые пошлины, новые мы, которые будут им те люстры зажигать. Он говорил и жмурился от собственной осведомлённости. У Го-

сты была искра в полруки и оттого вечная жажда напомнить, что он выше нас на целую руку.

— А правда, — спросила рядом молоденькая судомойка, — что порожные совсем без души рождаются? Оттого и без искры?

За столом стало чуть тише. Я не подняла головы от хлеба.

— Дура ты, — сказала Лисса весело, прежде чем я успела ничего сделать со своим лицом. — Была бы Нэйра без души, кто б тебя, косорукую, от господского огня заслонял? Ешь давай да помалкивай.

Судомойка засопела. Разговор перекатился дальше. А я сидела и думала, как это по-нашему, по-кухонному: за одним столом спокойно спрашивать, есть ли душа у той, что сидит напротив и делит с тобой хлеб.

— Ольд-то не врал, — сказала Лисса погодя, совсем тихо, одной мне. — Про Полую. Наша прачка с прачечной видела дым. Говорит, до Верхнего города несло гарью.

Груша встала у меня поперёк горла. Я заставила её пройти.

— Мало ли что горит в Нижнем городе, — сказала я.

— Не так горит. — Лисса передёрнула плечами. — Говорит, башня вся вышла. По-старому. — Она помолчала, обсаывая косточку. — Жуть какая. Красть чужое прямо из живого человека — тронул, и нет у тебя больше огня. Тьфу. Хорошо, что таких больше не водится. Одна на весь город затесалась — и ту сожгли.

— Хорошо, — сказала я.

Я смотрела на её липкие пальцы, на облизанную костяшку и думала, как легко эти самые пальцы легли бы мне в ладонь. Брать у Лиссы было нечего — такая же порожняя, как я, из неё моё проклятье не вытянуло бы ни капли. И всё равно за руку я её не держала. Ни разу за все годы. У того, кто позволяет себе тянуться к людям, однажды рука сама потянется не туда и не в тот час — к тому, в ком есть чему гореть. Я выучилась не тянуться вовсе. Даже к Лиссе. Особенно к Лиссе — потому что к ней и хотелось.

* * *

К себе на чердак прислуга поднималась чёрной лестницей — узкой, витой, зажатой в толще стены, будто дом стыдился, что мы у него внутри есть. На среднем пролёте было окно — единственное на всю лестницу, высокое и слепое от копоти, и я всегда у него замедляла шаг, хоть и знала, что за это не хвалят.

Из того окна виден был весь Аурелис. Верхний город лежал внизу тёплой россыпью огней; там жгли столько свечей и клановых искр, что даже ночью держалось зарево. А дальше, где холм обрывался, огни кончались разом, и начиналась чернота — Нижний город, Пустыри, крыши без единого светлого пятна. Ветер шёл в другую сторону, и всё же я ловила воздух ноздрями, будто могла через полгорода учуять

то, о чём говорила прачка. Дым от костра, который сложили всей башней где-то там, в черноте, по женщине, умевшей то же, что умею я.

Ничем не пахло. Только холодным камнем да сальной копотью с плошек. Я постояла, сколько посмела, и полезла выше.

Спали мы на чердаке, под самой крышей, где зимой изо рта шёл пар, а летом было не продохнуть. Сейчас, в исходе весны, было в самый раз — единственное, что на том чердаке вообще бывало в самый раз. Тюфяки лежали в два ряда, набитые прошлогодней соломой, что кололась сквозь холстину; мой был крайний у стены, Лиссин — следом, так что ночью я слышала, как она дышит, и по дыханию знала, спит она или притворяется.

Сегодня она не спала. Села, подтянув колени, и в руках у неё была моя рубаха — та, с надорванным у плеча швом, где топорщилась подкладка с биркой.

— Дай зашью, — сказала она. — А то к утру совсем разлезется, и Брида тебе задаст.

— Сама зашью.

— Сама-сама. — Она уже вдевала нитку в потёмках, на ощупь, склонив голову. — У тебя стежок будто собака бежала. Давай сюда.

Я отдала. Смотреть, как чужие руки чинят твою единственную рубаху, — странное дело для того, кто привык всё чинить сам. Хотелось отнять. Я не отняла. Лисса шила мол-

ча, прикусив губу, и свет единственной сальной площадки лежал у неё на лице, выхватывая скулу, изгиб брови, крохотный шрам над губой — она рассекла её в детстве о край колодца и рассказывала об этом сто раз, всякий раз иначе.

— Знаешь, о чём я думаю? — сказала она, не поднимая головы. — Ты вечно эдак. Спину гнёшь, из кожи лезешь, лишь бы всем угодить. Госпоже угодить, Бриде угодить, мне вон рубаху не дать зашить — всё сама. Будто боишься: перестанешь быть нужной — и выкинут за дверь.

— И выкинут, — сказала я. — Порожних держат, пока с них толк.

— Это господа держат за толк. — Она подняла глаза. В них было упрямство, с каким она когда-то, наверное, и лезла на тот колодец. — А я за тебя держусь не ради него. Ты, глупая, стоишь больше своей работы. Тебя можно любить просто так. Ни за что. За то, что ты — это ты.

Я засмеялась. Тихо, чтобы не разбудить ряд.

— Спи, философ. Тебя послушать — так порожняя горничная дороже клановой печатки.

— Дороже, — сказала Лисса упрямо и откусила нитку. — Держи. И зря смеёшься.

Я забрала рубаху, тёплую от её рук, и легла к стене, спиной к её словам, потому что со словами этими не знала, что делать. Их надо было куда-то деть, а у меня, как у всякой кухни, для них не находилось места. «Тебя можно любить просто так». Хорошо тому, кого можно любить просто так.

Меня можно было любить только пока никто не знал, что я такое. А то, что я такое, любили ровно до костра — сегодня утром, в двух улицах, всей башней.

* * *

Лисса уснула быстро, как засыпают те, у кого совесть чиста. Я — нет.

Я лежала и слушала дом: скрипы внизу, капель где-то, ветер по черепице — звуки, под которые я засыпала тысячу ночей. Сегодня они не убаюкивали. Сегодня между мной и сном стояла молодая женщина, которую вели через площадь при всей башне, и я всё думала: помнила ли она под конец хоть что-то своё — или выжгла последнее, спасаясь, как я нынче выжгла песню и даже не поняла какую.

Я повернулась к ней. Во сне, приоткрыв рот, Лисса была совсем беззащитной: шрамик над губой, родинка у виска, две морщинки от вечного прищура. И, сама того не замечая, я стала это заучивать — жадно, подробно, как перед испытанием. Так не смотрят на тех, кто рядом навсегда. Так смотрят на то, что боишься потерять.

Я знала, отчего. Волосок огня стоил мне сегодня целой колыбельной — а колыбельную мне кто-то пел, кого я уже не помню. Выходит, за живого человека я однажды заплатила и не заметила. Вешна сказала бы честно: сначала уходит дорогое. Значит, если платить дальше, платить придётся Лиссой

— её шрамиком, её «тебя можно любить просто так», которое сотрётся во мне раньше, чем я успею в него поверить.

Я села на тюфяке. Всю свою невидимую жизнь я была одна, но так, как в ту минуту, рядом со спящей Лиссой, — ещё никогда. Любить меня было опасно; просто она об этом не знала.

И тогда я попробовала напеть.

Тихо, одними губами, без звука — то, чего утром ещё не было потеряно. Пальцы сами взяли по колену: раз — и два коротких, раз — и два коротких, тот же ход, что на лестнице, ровный и уверенный, будто рука знала дорогу, которую ноги забыли. Я шла за ним, ждала, что следом придёт мотив.

Мотив не пришёл. Пришла ровная стена.

Я лежала с открытыми глазами до самого света и считала свои дыры. Одну колыбельную я хотя бы заметила, потому что искала. Двенадцать лет я тянула чужие искры по волоску — у злого господина, у пьяного гостя, всякий раз, когда иначе было не выжить, — и всякий раз с меня брали плату. Кто-то ведь пел мне эту песню. Я не помнила ни лица, ни голоса, ни того, что у меня когда-то была мать. Может, за неё и заплачено.

Чего ещё во мне нет — а я даже не знаю, что искать?

Глава 3

«Имён сорок тысяч. Читать в том порядке, в каком они внесены в опись, и всякий год начинать с первого. За ночь, от полуночи до первого света, успевают около трети. Прочих не называют».

Устав Ночи Пепла, о порядке чтения литании у подножия Пепельной башни

Наутро дом проснулся тихим — той особой тишиной, что оседает после чужой смерти, к которой ты будто и ни при чём — и всё равно ходишь на цыпочках.

Работа шла своим чередом. Топили печи, таскали воду, выбивали на заднем дворе ковры — но вполголоса, будто громкий звук мог что-то накликасть. Брида гоняла нас злее обычного, и я знала почему: у нас страх не проживают, у нас его забивают делом, а вчерашней вести хватило бы, чтобы забить работой неделю. Я чистила ножи толчёным кирпичом и слушала, как большой дом старательно делает вид, что ничего не было. Выходило скверно.

К полудню за нами пришли.

Управляющий Госта спустился на кухню сам — редкая честь, — и по тому, как ему не терпелось заговорить, я поняла, что новость жжёт ему язык.

— Порожних всех наверх, в каретный двор, — сказал он.
— Живо. Пепельные уже на улице.
Брида выпрямилась от печи.
— Кого сверяют?
— Вас. — Госта прошёлся по нам взглядом — тем особым манером, каким считают головы скота перед пересчётом. — Всех, у кого бирка. После вчерашнего велено сверить реестр по всем высоким домам. Мало ли кто у кого под крышей завёлся.

Я положила нож ровно, как клала тысячу раз, и вытерла руки о передник. Руки слушались. Внутри у меня медленно опускалось что-то тяжёлое — ещё не страх, его тень, знакомая тяжесть, с какой порожняя встречает всякое слово «Инквизиция». Вчера они были в двух улицах, в чужом, в Нижнем городе. Сегодня они шли сюда, вверх по холму, к нашему порогу, и несли с собой реестр, где я значилась строкой.

Ну и пусть, сказала я себе. В реестре я — пустая. Пустее пустого. Двенадцать лет эта строка была мне бронёй: там записана не я, там записано ничто, а ничто не ищут.

Так я себе сказала и пошла наверх вместе со всеми.

* * *

В каретном дворе нас построили вдоль стены — десятка полтора: обе прачки, посудник, конюшонок, молоденькая судомойка, я. Солнце стояло высокое, камень под ногами уже

нагрелся, но вдоль этой стены держался холодок, как всегда держится там, где ждут расплаты неизвестно за что. Мы стояли ровно, руки по швам, и старались не поднимать глаз. Этому не учат — этому научаешься сам, годам к пяти, у камня, куда тебя привели показать, что в тебе ничего нет.

Госта прохаживался перед рядом, заложив руки за спину, и явно наслаждался тем, что у него-то бирки нет.

— Вы не тряситесь, — сказал он благодушно. — Кто чист, тому чего бояться. Это они не по вашу душу. Это они ищут... — он выдержал паузу, смакуя, — Полых.

Судомойка рядом со мной тихо охнула.

— А правда, что их жгут? — спросила она. Та самая, что за ужином выясняла, есть ли у меня душа. — По-старому?

— Жгут. — Госта сказал это с удовольствием знающего человека. — Да не всех.

Он оглянулся на закрытую дверь каретной, за которой уже сидел приезжий писарь, и понизил голос до того сладкого шёпота, каким пересказывают чужие страхи, чтобы самому греться у чужого огня.

— Моя тётка при башне служила, вот как ты, судомойкой. Так она сказывала: которых напоказ ведут да палят при всём народе — это чтоб мы смотрели и помнили. А есть, кого не палят. Кого уводят вниз, под башню, в самый низ, и оттуда уже никто наверх не выходит. Держат их там. Для чего господам держать такую пакость у себя под полом — не моего ума дело и не твоего. Но держат.

— Врёшь ты всё, — сказала одна из прачек без большой уверенности.

— Может, и вру. — Госта пожал плечами, довольный. — Тётка врала, я повторяю. А только не зря они засуетились. К Ночи Пепла нынче готовятся, каких лет не готовились: пепельные ходят по домам, литанию будут читать с полуночи, реликварии открывают все до единого. В такой год им особенно неохота, чтоб по городу гуляла живая Полая.

Ночь Пепла. Сколько я себя помню, для нас это была просто тяжёлая ночь: господа уезжают в город в сером, дом стоит пустой, а к рассвету надо успеть перемыть всё, что они привезут обратно. Люди наверху в эту ночь плачут по Морлинну. Внизу в эту ночь чистят серебро.

Один раз, давно, я слышала литанию с чёрной лестницы — ветер поднял с площади ровный мужской говор, читавший имена, одно за другим, без выражения, как читают опись. Я тогда простояла у окна дольше, чем позволено, и потом не могла объяснить Бриде, почему у меня руки в мыле остыли. Имена мне были чужие. Я всё равно слушала.

— А только с самого Морлинна такого страха на людей не нагоняли, как нынче, — заключил Госта.

Морлинн.

Слово упало в общий говор буднично, как медяк в кружку, и покатилося дальше — прачка что-то возразила, судомойка спросила, а Госта уже отвечал, — а я осталась стоять с этим словом внутри, будто оно во мне за что-то зацепилось.

Я не знала за Морлинном ничего, кроме того, что знали все: где-то, когда-то, давно, целый город обратился в пепел разом. Выброс. Так пугают детей, так поминают все большую беду. Пустой звук, старая страшилка. Мне не с чего было к нему тянуться.

И всё же в носу у меня вдруг встала гарь.

Не запах со двора — двор пах нагретым камнем, конским потом, пылью из ковров. Эта гарь поднялась изнутри, сухая и горячая, как от близкого пожара, которого нет; на один удар сердца по лицу прошёл жар, будто я стояла слишком близко к чему-то горящему, и где-то высоко и тонко зазвенело, под самым черепом, — и тут же оборвалось. А за ним осталось место. Глухое, ровное место, куда я сунулась было по привычке — понять, что это было, — и не нашла ни края, ни дна. Не как с колыбельной, где я хоть форму дыры знала. Тут и дыры не было. Была стена, старая, заросшая, будто здесь никогда и двери не прорубали.

Я моргнула. Гарь ушла так же, как пришла. Двор стоял на месте, солнце, стена, Госта, чужой страх по кругу.

Со вчерашнего, решила я. Надышалась разговорами про дым да костры, вот тело и мерещит. Голодной я не была, спать не спала — от бессонной ночи и не такое привидится. Я задвинула это глубже, к прочему, чего не трогают, и стала смотреть на дверь каретной, потому что дверь как раз отворилась.

Выкликали по одному.

Писарь сидел за вынесенным во двор столом — серый весь, от сукна до лица, с таким же серым реестром под локтем, — и был он до того похож на того, давнего, из холодной залы при башне, что у меня на миг спутались годы. Тот тоже не поднимал глаз. Тот тоже макал перо и выводил в столбце знак, которым тебя вычёркивали из живых, не глядя. За плечом писаря стояли двое в пепельном, при мечах, и оба скучали так, как скучают только те, кому дозволено в любую минуту перестать скучать.

Судомойку отпустили быстро. Прачек, посудника. Дело было простое: назови имя, покажи бирку, стой смирно. Медь на плече сверяли с медью в реестре, ставили пометку, махали прочь. Порожних не допрашивают. С порожними не разговаривают — порожних сверяют, как сверяют опись столового серебра: цело ли, на месте ли, не завелось ли лишнего.

— Нэйра, — прочёл писарь. Без фамилии. У нас нет фамилий.

Я подошла и стала перед столом, опустив голову ровно настолько, насколько положено, — не ниже, чтобы не казалось, будто прячешься, не выше, чтобы не поймали взгляд. Лицо я держала пустым. Лицо я умею держать пустым лучше всего на свете; это единственное моё мастерство, которого не от-

нимет никакая сверка.

— Плечо, — сказал писарь.

Я отвела ворот. Он потянулся через стол и запустил пальцы мне под подкладку, к вшитой бирке, — буднично, не грубо, так берутся за вещь, чтобы прочесть на ней клеймо. Пальцы у него были холодные и сухие. А под ними, у самой их кожи, я почуяла его искру.

Слабую, чиновничью, ровную — уголёк под спудом бумаг, — но живую. Тёплую нить, до которой было полвздоха.

И всё во мне, чему двенадцать лет велено молчать, разом подняло голову.

Не голод — хуже голода. Так тянет руку к перилам над обрывом — просто взяться, просто проверить, что можешь. Я знала цену этой мысли лучше, чем цену хлеба. Чужой не отдаёт. У чужого нить лопается, едва потянешь, и по ладони расходится ссадина, которой нет, и в голове звенит битым стеклом. Вчера у Тейна звенело так, что я не расслышала собственных шагов. Сейчас между мной и этим звоном стояли двое в пепельном, при мечях и при большом досуге, и им хватило бы одного моего пошатывания.

Я стояла, отвернув лицо к его рукаву, и держала свою пустоту на привязи, как держат ладонь плашмя над свечой — близко, чтобы чувствовать жар, но не сжать. Один волосок его искры — и огонёк дрогнет, и по мне пройдёт холод, и глаза на удар сердца подёрнет серебром, и человек в сером поднимет наконец скучающий взгляд и увидит перед собой

то самое, за чем вышла вчера вся башня.

Я не потянула. Я стояла камнем и считала его дыхание, чтобы не считать его искру.

— Пустая, — сказал писарь, нащупав бирку и сверив её с пальцем, ползущим по строке. Он обмакнул перо. — Именем Инквизиции Дара сверено и подтверждено. Порожня, крови пустой, дара не носит и носить не может. — Он вывел свой знак. И, не поднимая глаз, добавил рутинную приписку, которую, видно, приговаривал нынче над каждым из нас, как приговаривают молитву, забыв слова: — Реестр блюдётся, дабы не повторился Морлинн.

Морлинн.

На этот раз оно не покатилося мимо. Оно вошло.

Гарь встала стеной — густая, горячая, живая; жар лизнул лицо, тонкий звон под черепом взлетел и на этот раз держался, тянулся, и глухое место внутри меня качнулось, будто за глухой стеной кто-то ударил кулаком. Двор поплыл. Я стояла над обмакнутым пером, над рукой писаря на моём плече, с чужой искрой в полувздохе от моей пустоты и с чем-то огромным и безымянным, что рвалось ко мне из-за стены, к которой у меня не было двери, — и мне нельзя было ни пошатнуться, ни побледнеть, ни выцвести глазами. Ничего из этого мне было нельзя.

Я сделала единственное, что умею. Я стала пустой. Всей собой, до дна, как перед камнем в детстве: ни искры, ни голода, ни гари, ни звона — ровное серое ничто, которое не за

что зацепить и не на чём поймать.

— Свободна, — сказал писарь и снял руку.

Двор вернулся на место. Гарь опала. Стена внутри снова стала стеной.

Я отступила, поклонилась ровно, как кланяется мебель, и отошла к краю двора, и только там позволила себе выдохнуть — тихо, в один длинный выдох, каким выпускают то, что держали слишком долго.

* * *

Вечером на кухне все уже смеялись — тем облегчённым, злым смешком, каким смеются, когда беда прошла стороной. Свели и ушли. Никого не увели. Госта ходил именинником, будто это он самолично уберёг дом от Пепельного орденна, и снова, кому охота, рассказывал про тётку и про то, что держат под башней, и про целый клан, что свели под корень за одну порожнюю тварь.

— За одну! — повторял он, поднимая палец. — Клан с именем, с искрой, не нам чета. Вэйраны звались. Пригрели этакую дрянь под крышей — и нет клана. Вот и весь сказ, чего стоит эту породу жалеть.

Я мыла бокалы, тонкого верхнего стекла, и слушала вполуха, и думала не про Вэйранов и не про башню.

Я думала про женщину, которую вчера вели через площадь.

Она тоже была никому не нужна. Полая живёт, как я живу, — тихо, невидимо, пустее пустого, покупая каждый день тем, что от неё ни проку, ни следа. Двенадцать лет я строила себе дом из одного слова: пока я никому не нужна, меня не тронут; ничто безопасно; ничто доживает до старости в чьей-нибудь кухне. Я легла спать на этом «нет», как на подушке, ещё позавчера.

А вчера её нашли. Тихую, невидимую, ничью — нашли и вывели, и башня вышла смотреть. Значит, «никому не нужна» не спасло её. Значит, оно и меня не спасёт — оно только держит меня смирной, покуда за мной не придут, как пришли за ней.

Бокал был чист. Я всё тёрла его и тёрла.

Дверь во двор стукнула. Ольд вошёл боком, как входят с дурной вестью в дом, где уже отпраздновали, и Госта осёкся на полуслове.

— У соседей сверяли после нас, — сказал Ольд. — Через сад, во дворе.

— Ну и?

— Одного увели.

Кухня стала тихой так быстро, что слышно было, как капает с моих рук в лохань.

— Полый? — выдохнула судомойка.

— Какой Полый, — сказал Ольд с досадой на неё, на нас, на весь свет. — Ганек. Конюх ихний, порожний, мы с ним в кости играли. Смирный, тише воды. У него запись не со-

шла: в реестре одна бирка стоит, а на плече другая — башня, вишь, три года назад дом переписывала, писаря напутали. Он им это самое и объясняет. А они говорят: разберутся.

— Так ведь разберутся же, — сказал кто-то.

Ольд посмотрел на говорившего и ничего не ответил.

Лисса подошла и встала рядом, плечом к плечу, как вставала всегда, когда на кухне делалось нехорошо.

— Разберутся, — сказала она мне тихо, не веря ни одному своему слову. — Он же ничего не сделал.

— Ничего не сделал, — согласилась я.

Мы обе знали цену этому доводу. В нашем городе «ничего не сделал» ничего и не стоит. У порожнего нет ни дел, ни имени, ни клана, за спину которого можно зайти. Только медь на плече. Пока она сходится с медью в реестре, ты живёшь. Не сходится — с тобой разберутся.

Я стояла с чистым бокалом в руках, и вода стекала мне в рукав.

Двенадцать лет я знала твёрдо: строчка в реестре — моя броня. Там записано ничто, а ничто не ищут. Я прожила на этой мысли всю свою жизнь и ни разу её не проверила.

А сегодня в двух дворах отсюда взяли смиренного порожнего конюха, который никакой не Полый, — просто потому, что у писаря дрогнула рука.

Броня была бумажная. Она всегда была бумажная. Просто до сегодняшнего вечера её никто не рвал у меня на глазах.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.